

СБОРНИК РАССКАЗОВ



ПРАВИЛА для ПОСЛУШНЫХ ДЕВОЧЕК

рассказы о правилах



РОАН МИЛЛЕР

Роан Миллер

Правила для послушных девочек

«Автор»

2026

Миллер Р.

Правила для послушных девочек / Р. Миллер — «Автор», 2026

Правила существуют, чтобы их либо сломать, либо понять, кем ты становишься, пока их выполняешь. Институт благородных девиц и репетиционный вагончик, Совет порядка и требовательный режиссёр, бланк с крестиком и «послушный текст» разные декорации одной проверки: где кончается дисциплина и начинается ты сам. Сборник рассказов о правилах, которые ломают одних и закаляют других

© Миллер Р., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Вступление. Бумага с печатью	5
Одна минута	7
Вторая запись в красной тетради	18
Третья запись в красной тетради	28
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Роан Миллер

Правила для послушных девочек

Вступление. Бумага с печатью

Я не сразу поняла, что человек в строгом доме сначала подчиняется не людям, а бумаге. Бумага лежит на столе, висит у двери, выглядывает из кармана надзирателя, пахнет пылью, чернилами и чужой властью. На ней пишут твоё имя, не спрашивая, нравится ли оно тебе в этой комнате. На ней ставят крестик напротив проступка. Опоздание. Дерзость. Небрежность. Разговор после сигнала. Невыполненная работа. И рядом всегда остается пустая строка, будто дом заранее знает: человек изобретателен в своей глупости и для него не хватит готового списка.

В Ломоносовском институте эту бумагу называли направлением. Звучало почти прилично. Направление можно получить к врачу, в архив, в канцелярию. Но все знали, что если направление сложено пополам и скреплено серой ниткой, дорога у него одна: зал Б-17, бывший гимнастический корпус, где после четырех часов принимал Совет порядка.

Я пишу это не затем, чтобы оправдаться. Оправдания быстро портятся. Сначала они кажутся свежими и убедительными, а потом в них проступает кислый запах страха. Да, я опоздала в первый день. Да, я спорила, когда надо было молчать. Да, я хотела доказать, что со мной обошлись несправедливо. В девятнадцать лет это желание кажется почти благородным. Позднее узнаешь: оно часто бывает просто гордостью, переодетой в чистую рубашку.

Институт стоял на окраине старого города, где ветер с реки умел проходить сквозь две стены и одну шинель. Красное кирпичное здание казалось не построенным, а поставленным на караул. Окна высокие, лестницы узкие, коридоры такие длинные, что в них терялся не только звук шагов, но и уверенность. Над главным входом висела табличка с девизом: "Порядок бережет ум". Я тогда фыркнула. Мне показалось, что это сочинил человек, который никогда не видел живого ума. Живой ум, думала я, беспорядочен, горяч, непослушен, любит поздно ложиться и спорить за ужином.

Я приехала туда не по своей воле. Впрочем, кто в молодости вообще приезжает по своей воле туда, где его будут учить вставать по звонку? Моя тетка, женщина сухая, набожная и богатая ровно настолько, чтобы считать бедность недостатком характера, решила, что мне нужна твердая рука. Мать к тому времени умерла. Отец жил письмами, обещаниями и редкими переводами денег, которые приходили всегда позже, чем долг. Я хотела учиться словесности, читать старые хроники, переводить французские романы, писать заметки в газету под чужим именем. Тетка сказала, что словесность не кормит женщину, а газета портит ее нрав. Институт, по ее словам, выпускал управительниц, наставниц, секретарей, людей полезных и собранных. "Там из тебя выбьют эту бесполезную дерзость", - сказала она на вокзале. Я тогда ответила, что дерзость не коврик, чтобы ее выбивать. Это была не лучшая моя фраза, но тетка ее запомнила.

Я тоже многое запомнила. Запомнила, как паровозный дым смешался с мокрым снегом. Как носильщик бросил мой сундук у стены, будто привез не вещи, а наказание. Как старшая воспитанница в темном платье осмотрела мои перчатки и сказала, что в институте не любят ярких пуговиц. Пуговицы были темно-вишневые. Не алые, не золотые, не с павлиньим пером. Просто вишневые. В тот день я впервые поняла, что строгость любит начинать с мелочи. Сначала пуговицы, потом походка, потом интонация, потом мысль.

Порядок в институте был старше тех, кто его исполнял. Он висел в воздухе, как холод. Ему не нужно было кричать. В шесть подъем. В шесть десять умывание. В шесть тридцать молитва. В семь чай и каша. В семь двадцать проверка комнат. В восемь занятия. После обеда работы, чтение, переписка, гимнастика, молчаливый час, вечерняя проверка. За каждую

минуту отвечал кто-то один, но виноваты могли оказаться все. Так удобнее воспитывать осторожность.

Совет порядка считался не наказанием, а средством исправления. Это слово - исправление - произносили особенно спокойно. Как будто человек похож на криво прибитую полку. Подойти, вынуть гвоздь, поставить ровнее. Никого не интересовало, что полка может скрипнуть, расколоться или упасть вместе с посудой. В бумагах института было написано, что телесные меры отменены много лет назад. В реальности их заменили другими способами: стоять неподвижно, переписывать устав, держать тяжелый том на вытянутых руках, сидеть лицом к стене, молчать весь день, просить разрешения на каждую мелочь, являться на дополнительные проверки. Иногда это унижало сильнее удара. Удар заканчивается. Ожидание тянется, заглядывает под кожу, заставляет слышать собственное дыхание.

В Совете было трое наставников. Их имена я узнала раньше, чем расписание лекций. Сергей, которого считали мягким. Петр, которого называли правильным до занудства. И Григорий, о котором говорили тише. Не потому, что он кричал. Как раз наоборот. Страшнее всего о нем рассказывали те, кого он ни разу не тронул пальцем. Он умел заставить человека самому увидеть свой проступок, а это, как я скоро убедилась, куда неприятнее чужого обвинения.

Позднее я узнала, что воспитанники сами выбирали, чего бояться. Одни боялись боли в мышцах после долгого стояния. Другие - смешков за спиной. Третьи - письма домой. Я боялась, что меня заставят признать правоту правил. Мне казалось, если я однажды скажу: "Да, я виновата", - то потеряю что-то важное, последнее свое. Теперь смешно. Ничего своего не теряешь, когда называешь вещь ее именем. Теряешь, когда слишком долго защищаешь ложь и уже не помнишь, зачем начал.

Но это я понимаю сейчас. Тогда я вошла в институт с поднятым подбородком, с тремя книгами в чемодане, с теткинским письмом в кармане и с полной уверенностью, что строгие дома существуют для слабых людей. Я ошибалась почти во всем.

Эта книга началась с первого направления. Маленького листка, на котором мое имя было написано чужим почерком. Вера Андреевна Селиванова. Проступок: опоздание на занятие. Срок явки: три дня. Место: зал Б-17. Подпись: преподаватель истории делопроизводства Николай Павлович.

Тогда я решила, что это пустяк. Одна минута, один листок, одно недоразумение. Умный человек все объяснит, и дело закончится. Я еще не знала, что в строгом доме объяснение ценится дешевле молчания, если оно произнесено до того, как тебя спросили.

Одна минута

В первый учебный день я проснулась до звонка. Это важно сказать сразу, потому что потом меня часто представляли ленивой, рассеянной, привыкшей опаздывать. Ничего подобного. Я лежала в узкой кровати, смотрела на серый потолок и считала трещины в штукатурке. Их было семь. Одна напоминала ветку, другая карту несуществующей губернии. За окном еще темнело. В комнате спали шесть девушек, и каждая спала по-своему: Нина тихо свистела носом, Марфа стягивала одеяло к подбородку, Катя спала с открытым ртом и выглядела младше своих двадцати лет. Я не спала вовсе.

Новый дом ночью всегда говорит честнее, чем днем. Днем он показывает фасад, расписание, правила, чистые лестницы. Ночью скрипит, кашляет трубами, шепчет мышами под полом, роняет где-то каплю воды в железную раковину. Я слушала и думала, что не выдержу здесь года. Не из-за строгости даже. Строгость можно перетерпеть, если она понятна. Меня пугало другое: здесь все уже было решено до меня. Где я буду сидеть. Когда есть. Когда писать тетке. Когда читать. Когда говорить. В каком ящике держать чулки. Даже как складывать ночную рубашку.

Когда прозвенел подъем, я уже была одета наполовину. Старшая по комнате, Евдокия, которую все звали Дуняшей только за глаза, прошла между кроватями и одним движением распахнула шторы. Свет был синий, жесткий, как вода в проруби. Она посмотрела на мои вишневые пуговицы и ничего не сказала. Это молчание было хуже замечания. Я сняла жакет и надела темный, выданный вчера в кладовой. Он пах чужим мылом и сундуком.

Завтрак прошел в таком молчании, что ложки казались неприлично громкими. Я хотела спросить, всегда ли каша здесь похожа на мокрую бумагу, но Нина толкнула меня локтем. У нее были большие серые глаза и вид человека, который давно понял: смешное лучше замечать про себя. После завтрака нас повели по корпусам. Мне показали аудиторию письма, зал счетов, библиотеку, комнату для переписки, часовню, прачечную, медицинский кабинет и тот самый гимнастический корпус, мимо которого все прошли чуть быстрее.

- Б-17, - сказала Дуняша, не поворачивая головы. - Туда лучше не попадать.

- Почему? - спросила я.

Она взглянула на меня так, будто я спросила, зачем зимой печь.

- Потому что туда не ходят за похвалой.

На первом занятии преподаватель словесности задержал меня после звонка. Он был добродушный, круглый, с рыжей бородкой и привычкой поправлять очки средним пальцем. Звали его Александр Михайлович. Он спросил, что я читала, откуда у меня французский, почему в анкете написано, что я хочу заниматься архивными переводами. Я ответила. Он оживился. Достал из папки лист со старым текстом, предложил разобрать одну фразу. Я разобрала. Он похвалил, потом стал рассказывать о рукописях, о сокращениях, о том, что у женского ума есть особая терпеливость к мелкой работе. Тут я чуть не возразила, что терпеливость не имеет пола, но вовремя прикусила язык.

Когда я вышла, коридор был пуст. Тишина в учебном корпусе во время занятий особая: она не отдыхает, она сторожит. Я ускорила шаг. Потом почти побежала. Каблук зацепился за край дорожки, тетрадь выскользнула из-под руки, листы разлетелись веером. Пока я собирала их, в дальнем конце коридора прозвенел второй короткий звонок. Я еще не знала, что он означает начало занятия с точностью до последнего удара.

В аудиторию истории делопроизводства я вошла, когда стрелка на настенных часах только сдвинулась с восьмерки. На одну минуту. Может быть, меньше. Николай Павлович стоял у кафедры и держал мел так, как хирург держит инструмент. Высокий, сухой, с узкими

губами. Он не спросил, почему я опоздала. Даже не посмотрел удивленно. Просто взял со стола маленький бланк, поставил крестик в нужной строке и протянул мне.

- Место, Селиванова.

Класс зашевелился. Кто-то хмыкнул. У меня нагрелись уши.

- Николай Павлович, меня задержал Александр Михайлович, я...

Он поднял глаза. Не злые. Пустые.

- Место.

Я взяла бумагу. Она была плотная, с серой печатью в углу. На ней уже стояло мое имя, написанное ровным мелким почерком. Я села за свободную парту у окна. За стеклом дворник скреб лопатой мокрый снег, и этот звук показался мне насмешкой. Весь урок я почти не слышала. Николай Павлович говорил о реестрах, входящих бумагах, сроках ответа и ответственности за задержку документа. Каждое слово падало рядом с моим направлением.

После занятия я развернула лист. Там была таблица проступков. Опоздание. Нарушение формы. Разговор. Самовольный уход. Непочтительный ответ. Невыполненная работа. Порча имущества. Ниже пустая строка. Напротив опоздания стоял крестик. Внизу мелко: явиться в зал Б-17 в течение трех дней с шестнадцати до семнадцати часов. По окончании получить отметку о прохождении взыскания и передать преподавателю не позднее следующего учебного дня.

Я прочитала это три раза и каждый раз сильнее злилась.

Одна минута. Из-за разговора с преподавателем. И уже взыскание, отметка, срок. Я представляла, как вечером напишу тетке: "В первый же день меня отправили на Совет порядка". Она, конечно, ответит, что институт не ошибается. Тетка вообще верила учреждениям больше, чем людям. Люди для нее были непостоянны, а учреждения имели печати.

В столовой я села рядом с Ниной. Она посмотрела на сложенный лист у моей тарелки.

- Уже?

- Что значит уже?

- Направление.

- Это недоразумение.

Нина осторожно разломилась хлеб.

- Здесь недоразумения тоже проходят через Совет.

- Я объясню.

Она подняла на меня глаза. В них не было ни насмешки, ни жалости. Только усталое знание.

- Лучше не начинай с объяснений.

- А с чего начать? С благодарности?

- С молчания.

Я фыркнула. Нина вздохнула и придвинула ко мне кружку с чаем, хотя я свою еще не выпила. Этот жест был неожиданно добрым.

- Ты новенькая, - сказала она. - Поэтому тебе кажется, что если правда на твоей стороне, надо говорить громче. Здесь это не помогает. Здесь сначала смотрят, умеешь ли ты держаться. Потом уже слушают, и то не всегда.

- Кто они?

- Совет. Сергей, Петр и Григорий.

Имена прозвучали как три ступени вниз. Я спросила, кто из них хуже. Нина задумалась.

- Смотри чего ты боишься. Сергей мягкий, но от этого иногда еще стыднее. Он разговаривает так, будто ты его огорчила лично. Петр любит правила. Если в уставе написано стоять сорок минут, он поставит на сорок, не на тридцать девять и не на сорок одну. Григорий...

Она замолчала.

- Что Григорий?

- Он редко ошибается в человеке.
- Это недостаток?
- Когда человек хочет спрятаться, да.

Мне стало неприятно. Я еще ничего не знала об этом Григории, но уже рассердилась на него. На всякий случай. Бывают люди, которые получают нашу неприязнь авансом, потому что мы чувствуем: рядом с ними не удастся сыграть привычную роль.

После обеда я собиралась пойти в канцелярию и выяснить, можно ли отменить направление. Нина сказала, что нельзя. Я все равно пошла. В канцелярии пахло сургучом и мокрой шерстью. За столом сидела женщина с гладко зачесанными волосами и лицом, на котором любое прошение заранее считалось лишним.

- Я получила направление за опоздание, но оно произошло по уважительной причине.
- Фамилия?
- Селиванова.

Она нашла мое имя в журнале быстрее, чем мне хотелось.

- Явиться в Б-17 в течение трех дней.
- Но Александр Михайлович задержал меня после занятия.
- Значит, попросите Александра Михайловича впредь отпускать вас раньше.
- И все?
- Нет. Еще явитесь в Б-17.

Так закончилась моя первая попытка защитить справедливость.

Вечером в комнате я показала направление Дуняше. Она сидела у стола и штопала чулок так ровно, будто штопала карту военных действий.

- Когда идти? - спросила я.
- Завтра.
- Срок три дня.
- Поэтому завтра.
- Почему не на третий день?

Она отложила чулок.

- Потому что первые сутки ты боишься того, чего не знаешь. Вторые - того, что успела вообразить. Третьи - уже сама себя доводишь до глупости. Завтра сходишь и будешь спать.

- А если я не пойду?
- Пойдешь.
- А если нет?

Дуняша посмотрела на меня с почти материнской скукой.

- Тогда получишь второе направление. Потом третье. Потом письмо попечительнице. Потом разговор с директором. Потом, если совсем упрешься, тебя отправят домой с отметкой о неспособности к порядку. У тебя есть дом, куда хочется вернуться?

Она попала точно. Я отвернулась к окну. За стеклом двор был черен, только снег у фонаря казался желтым. Дом, куда хотелось вернуться, у меня был когда-то, при матери. После ее смерти комнаты остались, мебель осталась, даже чашки остались, а дома не стало. Теткина квартира была местом, где меня терпели с условием исправления.

- Что там делают? - спросила я.
- Разное.
- Дуняша.

Она снова взяла чулок.

- Тебе назначат меру. Может быть, предупреждение. Может быть, стояние. Может быть, переписка устава. Новеньким редко дают тяжелое, если они не устраивают представления.

- Я не устраиваю представлений.

Нина, лежавшая на кровати с книгой, тихо кашлянула. Кажется, это был смех.

- Что?

- Ничего, - сказала она. - Просто завтра начни с молчания.

Я легла рано, но сна не было. Направление лежало под подушкой. Глупость, конечно. Бумага не зверь, не убежит. Но мне казалось, если оставить ее на столе, кто-нибудь ночью поставит там еще один крестик. Я ворочалась, слушала дыхание соседок и думала о зале Б-17.

Воображение, как плохой чиновник, любит размножать бумаги. Оно выдало мне десятки картин. В одной меня заставляли стоять на коленях перед всем институтом. В другой читали теткинo письмо вслух. В третьей Григорий, которого я еще не видела, смотрел на меня и сразу понимал все, что я прячу даже от себя. Последняя картина была самой неприятной.

Утром я проснулась разбитой. Дуняша сказала, что у меня вид человека, который всю ночь спорил с печкой и проиграл. Я хотела огрызнуться, но вспомнила Нинино "начни с молчания" и промолчала. Это было первое маленькое усилие, сделанное мной в институте не из страха, а из расчета. Разница небольшая, но с нее часто начинается перемена.

День тянулся медленно. На арифметике цифры расплзались. На французском я дважды неправильно прочла одну и ту же строку. На обеде не почувствовала вкуса супа. В три сорок пять Нина коснулась моей руки.

- Иди сейчас. Пока не передумала.

- Ты пойдешь со мной?

- До двери.

Мы шли по коридору молча. В институте после занятий менялся звук. Утром шаги были спешные, учебные. После четырех в них появлялась личная тревога. Кто-то шел в библиотеку, кто-то в прачечную, кто-то на дополнительный счет, а кто-то, как я, в Б-17.

У дверей гимнастического корпуса Нина остановилась.

- Помни: отвечай, когда спрашивают. Не оправдывайся сразу. Смотри прямо. Если скажут стоять - стой. Если дадут писать - пиши. Не торгуйся.

- Ты говоришь так, будто меня ведут на казнь.

- Нет. На казни от тебя уже ничего не зависит.

Она ушла, а я осталась перед дверью. На медной табличке было выбито: Б-17. Под ней кто-то иголкой нацарапал маленькое слово "терпи". Я провела по нему пальцем. Буквы были неровные, злые. Потом взялась за ручку и вошла.

Зал оказался большим, прохладным, с высокими окнами. Гимнастические снаряды стояли вдоль стен: козел, брусья, длинная скамья, кольца, шведская стенка. Но сейчас это был не зал для упражнений. У входа за столиком сидел воспитанник старшего курса и вел журнал. Он протянул руку за моим направлением, переписал данные, вернул лист и кивнул на скамью.

На скамье уже сидели четверо. Двое юношей и две девушки. Одна девушка держала руки так крепко, что костяшки побелели. Юноша у края шептал что-то себе под нос. Я села последней и положила направление на колени. Хотелось выглядеть спокойной. Думаю, я выглядела высокомерной. У страха мало хороших масок.

В центре зала Петр стоял перед худым парнем и читал ему выдержку из устава. Парень держал тяжелый том на вытянутых руках. Руки дрожали, книга медленно опускалась. Петр не повышал голоса. Просто говорил: "Выше". И парень поднимал.

Сергей сидел за маленьким столом с девушкой, которая плакала над тетрадью. Он не утешал ее, но и не торопил. Перед ней лежал лист с одной фразой, которую она переписывала снова и снова: "Я отвечаю за слово, данное мной". Почерк к концу строки расплывался от слез.

Третьего наставника я увидела не сразу. Он стоял у окна, спиной к залу, и разговаривал с высоким темноволосым воспитанником. Не ругал, не жестикулировал. Просто говорил тихо. Юноша слушал с таким напряжением, будто каждое слово приходилось удерживать руками. Потом наставник повернулся.

Это был Григорий.

Он оказался моложе, чем я думала. Не старик с сухими пальцами, не громогласный надзиратель, а мужчина лет двадцати пяти или двадцати шести. Темные волосы, спокойное лицо, прямая спина. В нем не было показной суровости. Именно это и сбивало. Суровость, которая хочет, чтобы ее заметили, почти всегда глуповата. Эта была занята делом.

Он проводил воспитанника до стола у выхода, дождался, пока тому выдадут отметку, и только потом посмотрел на скамью. Его взгляд прошел по всем и остановился на мне. Я тут же пожалела, что не послушала Дуняшу и не пришла вчера. За одну ночь я успела вырастить в себе слишком много гордости, а она теперь мешала даже дышать.

Григорий подошел не сразу. Он взял у стола журнал, что-то уточнил у старшего, потом направился к нам. Юноша у края скамьи вскочил. Григорий поднял ладонь, и тот сел обратно.

- Селиванова Вера Андреевна.

Я встала.

- Да.

Он молчал.

Я поняла только через секунду.

- Да, господин наставник.

- Направление.

Я протянула лист. Он развернул его, прочитал, хотя читать там было нечего, и сложил обратно.

- Первый день?

- Да, господин наставник.

- Первое направление?

- Да.

- Причина опоздания?

Вот оно. Наконец-то.

- Меня задержал Александр Михайлович после предыдущего занятия. Он хотел поговорить о моих знаниях французского и дал мне разобрать отрывок. Я вышла сразу, как только смогла, но...

Григорий смотрел спокойно. Я сама услышала, как мой голос торопится, оправдывается, поднимается выше. И замолчала.

- Вы закончили?

- Да, господин наставник.

- Сколько минут вы опоздали?

- Одну.

- Если документ задержан на один день, он задержан или почти вовремя?

Я не сразу поняла вопрос.

- Задержан.

- Если поезд ушел минуту назад, он ушел или почти стоит?

- Ушел.

- Если человек дал слово прийти к восьми и пришел в восемь одну, он сдержал слово?

Я почувствовала, как внутри поднимается злость. Слишком ловко. Слишком гладко. Можно любым примером прижать человека к стене, если заранее выбрать стену.

- Он мог иметь причину.

- Конечно. Причины есть почти всегда. Мы не бедные люди, у нас у всех хватает причин. На скамье кто-то тихо выдохнул. Григорий не обернулся.

- Ваша причина будет учтена. Ваш поступок тоже. Встаньте у линии.

На полу, в двух шагах от стены, была проведена темная черта. Я подошла.

- Пятки вместе. Носки врозь. Руки за спину. Ладонь на ладонь. Голова прямо.

Я выполнила. Сначала это показалось смешным. Ну что за театр? Взрослая девица стоит, как провинившаяся школьница, и смотрит в стену. Но через минуту смешное ушло. Через две стала ныть спина. Через три захотелось переступить с ноги на ногу. Через пять я поняла, что неподвижность не пустяк. В ней человек встречается с собой без всякой защиты. Нельзя занять руки. Нельзя поправить воротник. Нельзя спрятать лицо в книге. Стоишь и чувствуешь, как каждая мысль становится громче.

Григорий встал сбоку.

- Вы сейчас думаете, что наказаны за чужую задержку.

Я молчала.

- Хорошо, что молчите. Но я задал не вопрос.

Он прошел передо мной.

- Когда Александр Михайлович задержал вас, вы знали, где следующее занятие?

- Да, господин наставник.

- Знали, что вы новенькая и можете не рассчитать дорогу?

- Да.

- Попросили отпустить вас за минуту до звонка?

- Нет.

- Почему?

Я хотела сказать: потому что он преподаватель, потому что невежливо перебивать, потому что я не знала вашей помешанности на минутах. Но все эти ответы вдруг показались слабыми.

- Мне было интересно, - сказала я наконец.

- Вот это уже похоже на правду.

Мне почему-то стало обиднее, чем если бы он меня отругал.

- Интерес не освобождает от обязанности. Запомните эту неприятную вещь, Селиванова. Очень часто человек губит порядок не из лени, а потому что ему интересно что-то другое.

Я стояла и злилась. На него, на Александра Михайловича, на тетку, на эту линию, на собственные ноги, которые уже просили пощады. Но вместе со злостью появилось другое чувство, совсем нежелательное. Он был прав. Не полностью, не во всем, не так, как ему, вероятно, хотелось. Но в главном - прав. Я не попросила отпустить меня. Я решила, что интересная беседа важнее расписания. А когда расписание ответило мне направлением, назвала это несправедливостью.

Григорий отошел к столу. Я слышала, как он разговаривает с Петром, как Сергей тихо диктует девушке новую строку, как кто-то скрипит подошвой по полу. Моя спина ныла сильнее. В какой-то момент я опустила глаза. Просто на секунду. Посмотреть, не съехала ли линия у меня из-под ног. Конечно, линия никуда не делась.

- Первая ошибка, - сказал Григорий от стола.

Я резко подняла голову.

Он даже не смотрел в мою сторону. Или смотрел до этого. Не знаю.

Через несколько минут я шевельнула пальцами за спиной. Он сказал:

- Вторая.

Теперь я поняла, почему его боялись. Не за строгость. За внимание. Грубого надзирателя можно обмануть, если он устал или отвернулся. Внимательного не обманешь, потому что он видит не только движение, но и намерение перед ним.

- Господин наставник, - сказала я.

Он подошел.

- Я разрешал говорить?

- Нет.

- Третья ошибка. Теперь говорите, раз начали.

Щеки у меня горели.

- Сколько я должна так стоять?
- Изначально десять минут. Теперь тринадцать.
- За одну минуту опоздания?
- Нет. За одну минуту опоздания и три ошибки здесь.
- Но я не знала правил.

Он чуть наклонил голову.

- Вы умеете читать?
- Конечно.
- Устав вам выдали вчера?
- Да.
- Вы его прочли?

Молчание вышло длинным.

- Не весь.
- Какую часть?
- Первые страницы.
- Сколько их там?
- Две.
- Из сорока шести.

Я чуть не сказала, что сорок шесть страниц устава в первый вечер читают только люди без воображения. Но удержалась. Кажется, на моем лице все равно что-то мелькнуло, потому что Григорий едва заметно улыбнулся.

- Четвертая ошибка могла бы быть за выражение лица. Но вы новенькая, и я сегодня щедр.

На скамье кто-то снова хмыкнул. Я возненавидела всех сидящих там сразу.

- Благодарю, господин наставник, - сказала я сухо.
- Не за что. Продолжайте стоять.

Тринадцать минут оказались длиннее некоторых недель. Ноги налились тяжестью. Между лопатками поселилась тупая боль. Я стала считать вдохи, потом доски в полу, потом удары сердца. На девятой минуте, если считать от начала, мне захотелось плакать. Не от боли. От унижения, от бессилия, от злости на себя. Я вдруг ясно увидела, как смешно выгляжу: вчера еще рассуждала о свободе ума, сегодня стою у стены из-за одной минуты и стараюсь не пошевелить пальцем.

Но была в этом и польза, хотя я тогда не хотела бы признать ее даже под присягой. Когда тело занято простым трудом терпения, мысль перестает бегать кругами. Она садится напротив и говорит: ну что, Вера, кто виноват? Не вообще, не в истории человечества, не в жестокости учреждений, а здесь, в этой минуте? И ответ уже не спрячешь за красивую фразу.

Когда Григорий сказал "достаточно", я сначала не поверила. Потом опустила руки. Они казались чужими. Он указал на стол. Там лежал раскрытый устав и чистый лист.

- Перепишете раздел о сроках явки. Один раз. Разборчиво. Ошибка в слове - переписываете страницу заново.

Я села. Пальцы дрожали, и первая буква вышла уродливой. Я зачеркнула ее.

- Не зачеркивать. Новый лист.

Я посмотрела на него.

- Это же одна буква.
- Уже пятая ошибка.

Мне захотелось рассмеяться. Или бросить перо. Или сказать ему что-нибудь такое, чтобы меня выгнали к тетке немедленно, и пусть она радуется своей победе. Но вместо этого я взяла новый лист.

Писать после стояния было труднее, чем я думала. Спина все еще ныла, рука не слушалась. Текст устава был сух, как сухарь недельной давности: "Лицо, получившее направление, обязано явиться в назначенное место в пределах указанного срока. По завершении взыскания лицо получает отметку..." Я переписывала и ненавидела каждое "лицо". В институте нас редко называли людьми. В бумагах мы были лицами, единицами, воспитанницами, нарушителями, явившимися и не явившимися.

На середине страницы я ошиблась в слове "завершении". Написала лишнюю букву. Сердце ухнуло. Я замерла.

- Новый лист, - сказал Григорий.

- Вы даже отсюда видите?

- Шестая.

Я закрыла глаза. Это было глупо, потому что за закрытые глаза тоже могла найтись статья. Но он промолчал.

- Почему вы считаете каждую мелочь? - спросила я уже тише.

- Потому что из мелочей вы строите себе лазейку.

- Я не строю лазейку. Я устала.

- Это честный ответ. Но усталость не делает букву правильной.

- Вы всегда такой?

- Седьмая ошибка. Личный вопрос без разрешения.

Я открыла глаза и вдруг увидела, что он не злится. Ни капли. Он не наслаждается моей растерянностью, не старается добить. Он делает свое дело с той же точностью, с какой Николай Павлович ставил крестик. Разница была в том, что Николая Павловича я как человек не интересовала. Григория, кажется, интересовала. И это было неудобнее.

Я начала заново. На этот раз писала медленно, почти рисовала буквы. За окном темнело. В зале становилось меньше людей. Девушка у Сергея ушла с красными глазами, но спокойным лицом. Парень у Петра наконец опустил книгу и долго растирал плечи. На скамье сменились ожидающие. А я писала раздел о сроках явки и думала о том, что одна минута может разрастись до целого вечера, если прийти к ней с высоко поднятой головой.

Когда страница была готова, Григорий взял ее и прочитал. Медленно. Я смотрела на его пальцы. На полях моей страницы не было клякс. Это почему-то стало важным.

- Годится.

Одно слово. Я почувствовала облегчение, будто сдала экзамен.

- Теперь скажите, за что вы получили взыскание.

- За опоздание на занятие.

- Полнее.

Я сглотнула.

- За то, что не рассчитала время после разговора с преподавателем, не попросила отпустить меня раньше и пришла на занятие после звонка.

- Хорошо. Что сделаете иначе?

- Буду смотреть расписание заранее. И предупреждать преподавателя, если следующее занятие далеко.

- Еще.

Я подумала.

- Прочту устав.

- Весь?

- Весь, господин наставник.

- Когда?

Вот ведь человек.

- Сегодня до отбоя.

- Нет. Сегодня вы прочтете разделы о сроках, форме и порядке обращения. Весь устав до воскресенья. В понедельник я могу спросить вас по любой статье.

- Можете?

- Могу.

Я почти сказала: "А если не спросите?" Но вовремя остановилась. Он заметил и улыбнулся откровеннее.

- Иногда вы успеваете подумать до ошибки. Это хороший знак.

Я не хотела, чтобы эта похвала согрела меня. Она согрела.

Он подписал отметку и передал лист.

- Отдадите Николаю Павловичу завтра до первого занятия.

- У меня завтра нет у него занятия.

- Значит, найдете его до первого занятия.

Я вспомнила мелкую строку внизу направления. Передать преподавателю не позднее следующего учебного дня. Не на следующем занятии. Не когда удобно. До конца следующего учебного дня. Если бы я не спросила, то получила бы второе направление. Или, вернее, если бы он не сказал, потому что спросила я не совсем по уму.

- Благодарю, господин наставник.

Он посмотрел внимательно.

- За что?

Вопрос был простой, но ответить на него оказалось труднее, чем переписать устав без ошибки. За то, что не стал хуже? За то, что заметил мою причину, но не позволил спрятаться за нее? За то, что предупредил о Николае Павловиче? Я не знала, как сказать это и не выглядеть смешной.

- За разъяснение.

- Принимается. Идите.

У выхода старший воспитанник поставил печать на отметке. Печать стукнула по бумаге коротко и окончательно. Я вышла в коридор. Нина ждала у окна, хотя прошло больше часа.

- Ну? - спросила она.

- Стояла. Писала. Ошибалась.

- Плакала?

- Нет.

Это была почти правда. Слезы стояли где-то близко, но не вышли.

Нина кивнула, будто это имело значение.

- Кто?

- Григорий.

Она присвистнула тихо.

- И ты целая.

- Разочарована?

- Обрадована. Просто не показываю.

Мы пошли к жилому корпусу. Ноги у меня болели, рука пахла чернилами, в кармане лежала отметка, а в голове крутилась одна фраза: усталость не делает букву правильной. Я злилась на нее. Значит, она уже начала работать.

В комнате Дуняша заставила меня показать отметку. Прочла, хмыкнула.

- Семь ошибок в зале?

- Он считал все.

- Григорий считает не все. Только полезное.

- Это должно меня утешить?

- Нет. Это должно тебя насторожить.

Нина засмеялась. Я тоже хотела засмеяться, но вместо этого села за стол и открыла устав. Раздел о сроках, форме и порядке обращения. Страницы были тонкие, шершавые. Буквы тесные. Я читала медленно. Некоторые статьи казались смешными, некоторые - злыми, некоторые - разумными, что раздражало сильнее всего.

Перед отбоем я нашла строку о передаче отметки преподавателю. Григорий сказал правду. Там было написано: "не позднее начала первого учебного часа следующего дня". Я представила, как утром прихожу после завтрака, ищу Николая Павловича, отдаю лист и избегаю второго направления. Простое действие. Никакой драмы. Надо всего лишь сделать его вовремя.

Вот в этом и была неприятность. Строгий дом не всегда требует подвига. Чаще он требует мелочи, сделанной без шума. Прийти на минуту раньше. Прочитать строку до конца. Ответить только на вопрос. Не показывать лицом каждую мысль. Не превращать усталость в право на ошибку.

Я легла, когда Дуняша погасила лампу. В комнате стало темно, только у окна лежала бледная полоса снега. Подушка пахла крахмалом. Тело болело после стояния, но сон пришел быстро. Перед самым сном я подумала о Григории и рассердилась на себя за то, что думаю. Он был всего лишь наставником Совета порядка. Человеком, который превратил одну минуту в целый урок.

Но, как выяснилось позднее, некоторые уроки начинаются именно так: не с большой беды, не с громкого решения, а с маленького опоздания, которое никто не захотел считать пустяком.

Наутро я проснулась от звонка и сразу села. В комнате было холодно. Нина, еще сонная, посмотрела на меня из-под одеяла.

- Куда так быстро?

- К Николаю Павловичу.

Она улыбнулась.

- Значит, Б-17 не зря топят.

Я хотела ответить колкостью, но времени не было. Я умылась ледяной водой, оделась, проверила карман с отметкой и вышла до завтрака. Коридоры еще не наполнились шумом. У дверей преподавательской пахло кофе, мелом и табаком. Николай Павлович появился ровно в семь двадцать пять, будто его вынули из часов.

- Что вам, Селиванова?

Я протянула бумагу.

- Отметка о прохождении взыскания, Николай Павлович.

Он взял лист, посмотрел на печать, убрал в папку.

- Впредь не опаздывайте.

- Да, Николай Павлович.

И все. Ни торжества, ни позора, ни длинной речи. Я вышла и вдруг почувствовала странную легкость. Не радость. До радости было далеко. Скорее удивление: оказывается, если сделать неприятное сразу, оно занимает меньше места.

В столовой Нина оставила мне кусок хлеба. Дуняша подвинула солонку. Маленькие милости строгого дома редко выглядят ласково, но они есть. Я съела кашу, даже не поморщилась, и впервые за все время заметила, что за дальним столом кто-то тихо смеется над неудачно сложенной салфеткой, что за окном дворник кормит воробьев крошками, что на стене часы отстают на две минуты, хотя все делают вид, будто они точны.

После завтрака начался обычный день. Но он уже не был совсем обычным. Я знала дорогу в Б-17. Знала, как выглядит темная линия на полу. Знала, что могу простоять тринадцать минут, хотя сначала кажется, что не могу. Знала, что Григорий видит опущенные глаза даже от стола. Знала, что устав скучен, но иногда спасает от лишнего унижения.

К полудню я решила, что больше никогда не получу направления. Решение было красивым и наивным. Такие решения молодые люди принимают легко: никогда не опаздывать, никогда не лгать, никогда не влюбляться не вовремя, никогда не зависеть от чужого голоса. Жизнь слушает и, наверное, улыбается.

Второе направление я получила через четыре дня. Но это уже другая история, и началась она не с опоздания, а с того, что я решила защитить человека, который вовсе не просил моей защиты.

Вторая запись в красной тетради

Я проснулась раньше колокола и сперва решила, что случилось несчастье. В нашем корпусе тишина никогда не держалась сама по себе. Кто-нибудь обязательно шуршал одеялом, кашлял, ругался шепотом, искал чулок под кроватью или, как Лида, с таким старанием точил карандаш, будто собирался не лекцию писать, а оборонять крепость. А тут тишина лежала на комнате тяжелой крышкой.

Я открыла глаза и несколько секунд смотрела на белый потолок, где от сырости расплзлось пятно, похожее на карту неизвестной губернии. Вчера я дала себе слово не думать о Совете до утра. Слово я сдержала плохо. Я не думала о нем только тогда, когда уснула от усталости, а до этого гоняла в голове каждую минуту вчерашнего вечера. Скамья у стены. Чужие лица. Запах лака от гимнастических снарядов. Бланк с моей фамилией. Голос Варвары Павловны, когда она сказала, что незнание правил не освобождает от последствий.

В прежнем пансионе за опоздание заставляли переписывать страницу из Катехизиса. Это считалось строгостью. Девушки стонали, будто их отправляли на каторгу. Я тоже стонала, хотя страницу переписывала быстро и потом еще успевала дочитать роман, спрятанный в учебнике географии. В институте Святой Евгении за минуту опоздания можно было получить запись в красную тетрадь. А красная тетрадь вела прямо туда, куда вчера вела меня бумажка.

Я лежала и прислушивалась. Колокол еще не звонил. Значит, я не опоздала. Значит, никто не мог сказать, что я нарочно проспала после первой выволочки. Значит, день можно было начать заново.

Глупая мысль. В таких заведениях ничего не начинается заново. Вчерашний день сидит у тебя на плечах, пока не решит сам слезть.

- Ты не спишь? - прошептала Лида с соседней кровати.

Я повернула голову. Лида лежала на боку и смотрела на меня так внимательно, словно всю ночь не смыкала глаз.

- Нет.

- Я тоже.

- Это заметно.

Она села, завернулась в одеяло и подтянула колени к груди.

- Ты вчера вернулась бледная. Я думала, тебя сейчас вырвет прямо у двери.

- Спасибо за нежность.

- Я не насмехаюсь.

Она сказала это так серьезно, что мне стало неловко. Лида умела быть злой. Умела быть веселой. Умела за пять минут разнести в клочки любую чужую самоуверенность. Но сейчас она смотрела без злости. От этого было хуже.

- Я просто устала.

- От усталости не держатся за спинку кровати, как за край обрыва.

Я хотела ответить резко, но вспомнила, как она вчера молча отдала мне свою кружку с водой. Не спросила ничего. Не полезла с расспросами. Просто сунула кружку в руки и отвернулась, будто вода сама по себе решила перейти на мою сторону комнаты.

- Меня заставили стоять, - сказала я. - Долго. В неудобной позе. И слушать, что я сама виновата.

- А ты была виновата?

Вопрос был неприятный. Я ждала сочувствия, а получила ножик, не очень острый, но направленный прямо туда, где кожа тонкая.

- Я опоздала на две минуты, потому что не нашла нужную лестницу.

- Значит, виновата лестница?

- Лида.

- Я спрашиваю серьезно. Вина тут не в том, что ты сделала что-то страшное. Вина в том, что ты думала, будто здесь можно быть как дома. Нельзя. Здесь все устроено так, чтобы человек сначала ошибся, потом испугался, потом сам начал следить за собой лучше любой надзирательницы.

- Ты говоришь так, будто одобряешь это.

- Я говорю так, будто живу здесь четвертый год.

Она встала и начала одеваться. Двигалась быстро, но без суеты. Все у нее было на своем месте: чулки сложены ровно, гребень в футляре, воротничок под прессом из двух книг. Я смотрела на нее и понимала, что за этой аккуратностью стоит не врожденная любовь к порядку. Стоит страх. Не панический, как вчера у меня, а старый, выученный, уже почти спокойный.

Колокол ударил в коридоре. Сразу, будто кто-то дернул веревку не только у колокола, но и у всего корпуса, комнаты ожили. Двери хлопнули. Половицы застонали. Девицы заговорили шепотом и тут же получили окрик дежурной. Вода в умывальнике была ледяная. Я плеснула ею в лицо и окончательно проснулась.

На завтрак я пришла вовремя. Даже раньше. Села рядом с Лидой, хотя вчера собиралась держаться от нее подальше, потому что она слишком много знает и слишком мало утешает. Но в первый настоящий день в новом месте человеку нужен кто-нибудь, кто хотя бы понимает, в какую сторону открывается дверь.

Столовая была длинная, светлая и неприятно чистая. Не чистая, как бывает в хорошем доме, где пахнет хлебом, мылом и теплой печью. Тут пахло кипяченой водой, мокрым деревом и строгостью. На стене висело расписание, под ним список дежурств, рядом выдержки из правил. Я уже начинала ненавидеть это слово: правила. Оно торчало везде, как заноза.

Мы ели молча. Каша была такой густой, что ложка в ней стояла бы без помощи руки. Я проглотила несколько ложек, не чувствуя вкуса. В конце стола две старшие воспитанницы тихо спорили. Одна говорила, что на этой неделе Совет будет особенно строгим, потому что инспекторша собирается проверять журналы. Другая отвечала, что Совет всегда строгий, просто иногда ему хочется казаться справедливым.

- Кто такая Варвара Павловна? - спросила я у Лиды, когда дежурная отвернулась.

Лида даже не посмотрела на меня.

- Смотрительница дисциплинарного зала.

- Я поняла.

- Тогда зачем спрашиваешь?

- Кто она до этого была?

Лида помолчала. Я уже решила, что она не ответит.

- Выпускница института. Потом помощница классной дамы. Потом ее оставили при Совете. Говорят, когда она училась, ее саму чаще других водили в зал.

- За что?

- За упрямство. За дерзость. За то, что читала запрещенные книги. За то, что однажды отказалась просить прощения у преподавателя, который ее оболгал.

Я невольно повернулась к ней.

- И теперь она делает то же самое с другими?

- Не то же самое. Хуже. Люди редко становятся мягче от того, что их когда-то ломали. Чаще они начинают верить, что именно это их и спасло.

Вчера Варвара Павловна не показалась мне жестокой. Это было самым неприятным. Злой человек понятен. От него ждешь удара и ненавидишь его без труда. Варвара Павловна говорила ровно. Она не повышала голос, не наслаждалась моим страхом, не улыбалась, когда я дрожала. В ее спокойствии было что-то куда более твердое, чем злость. Она как будто не наказывала

меня, а исполняла закон природы. Камень падает вниз. Вода течет по склону. Новенькая опоздала и должна пройти через Совет.

После завтрака нас построили в коридоре. Дежурная прошла вдоль ряда, проверила воротнички, ногти, косы, тетради. У одной девицы нашла на манжете чернильное пятно. У другой ленту неуставного оттенка. Обе получили отметки. Не красную тетрадь, нет. Пока только замечания. Но лица у них стали такими, будто им уже объявили приговор.

Я поправила воротничок так резко, что булавка уколола шею.

- Не вертись, - шепнула Лида.

- Я не верчусь.

- Уже споришь. Перестань.

Я перестала. Не потому, что признала ее правоту, а потому, что рядом проходила дежурная с глазами человека, способного заметить даже мысль, если она торчит из головы не по уставу.

Первым уроком была словесность. Преподавательница, Анна Матвеевна, была совсем не похожа на тех женщин, которые держали институт в кулаке. Маленькая, сухая, с руками, испачканными мелом, она говорила быстро и будто слегка задыхалась от нетерпения. Казалось, ей жаль времени, которое уходит на то, чтобы ученицы сажались, доставали книги, открывали тетради. Она хотела сразу к Пушкину, к письмам, к живой мысли, а мы мешали ей своими пуговицами и скрипом парт.

- Госпожица Чернова, - сказала она, едва проверив журнал. - Вы новенькая. Читали ли вы Белинского?

- Отрывки, сударыня.

- Какие именно?

Я назвала два письма и одну статью, которую читала тайком у двоюродного брата. Анна Матвеевна подняла брови.

- Тайком читали?

Класс оживился. Я почувствовала, как все головы повернулись ко мне. Вчера я бы солгала. Сегодня почему-то не захотела.

- Да, сударыня.

- Почему тайком?

- Отец считает, что девушке достаточно французской грамматики, Закона Божия и умения не говорить лишнего за столом.

По классу прошел тихий смехок. Анна Матвеевна не улыбнулась, но в глазах у нее мелькнуло что-то теплое.

- Ваш отец не одинок в своих заблуждениях. Садитесь. После урока подойдете ко мне.

Сердце у меня упало. После урока. Эти два слова за сутки успели стать преддверием беды.

Весь урок я слушала плохо. Анна Матвеевна говорила о том, что в литературе человек часто узнает себя раньше, чем решается признаться себе в жизни. Хорошая мысль. В другое утро я бы ухватила за нее, как голодная за хлеб. Но сейчас я думала только о том, зачем ей понадобилось видеть меня после урока. Может, она решит, что я дерзила про отца. Может, запишет в журнал. Может, отправит к начальнице. Здесь любое слово могло обрасти последствиями, как мокрая ветка инеем.

Когда прозвенел звонок, девицы поднялись. Я осталась у парты. Лида, проходя мимо, чуть задела меня локтем.

- Не оправдывайся, если не обвиняют, - прошептала она.

Я подошла к столу. Анна Матвеевна складывала книги в потертый портфель.

- Вы хорошо читаете по-французски? - спросила она.

- Довольно хорошо.

- По-немецки?

- Хуже.

- Стихи пишете?

Я покраснела. Это было хуже любого обвинения.

- Нет, сударыня.

- Значит, пишете.

- Иногда.

- Плохо?

- Наверное.

- Это обычно. Хорошо начинают только люди без стыда, а они потом редко учатся. Принесете мне что-нибудь завтра.

Я смотрела на нее, не понимая, где подвох.

- Это приказ?

Анна Матвеевна наконец улыбнулась.

- Нет. Просьба. Вы еще различаете просьбы и приказы, госпожица Чернова?

Я хотела сказать, что вчера различала лучше, но вовремя прикусила язык.

- Различаю, сударыня.

- Вот и берегите это умение. Здесь оно быстро портится.

Она взяла портфель и вышла из класса, оставив меня одну возле доски. Я стояла и чувствовала странное облегчение. Меня не наказали. Не отправили. Не записали. Просто попросили принести стихи. Просьба оказалась такой непривычной, что я не сразу поняла, как на нее отвечать.

На перемене Лида ждала меня у окна.

- Ну?

- Стихи велела принести.

- Велела или попросила?

- Попросила.

- Тогда не говори велела. Это разные вещи.

- Ты сегодня как словарь.

- А ты сегодня как человек, который вчера получил по голове мешком правил и теперь путает все слова.

Я рассмеялась. Впервые за утро. Лида тоже улыбнулась, но тут же спрятала улыбку, потому что по коридору шла Варвара Павловна.

Я увидела ее издали и сразу выпрямилась. Тело само вспомнило вчерашний зал. Ноги стали ровнее, руки прижались к тетрадам, подбородок поднялся. Варвара Павловна шла медленно, неся под мышкой ту самую красную тетрадь. На ней было темно-синее платье без украшений, волосы убраны гладко, лицо спокойное. Она не смотрела по сторонам, но все расступалась заранее.

Когда она поравнялась с нами, я опустила глаза. Не из уважения. От страха.

- Госпожица Чернова, - сказала она.

Я подняла голову.

- Да, сударыня.

- После последнего урока зайдите в канцелярию Совета.

Лида рядом перестала дышать. Я тоже.

- За что, сударыня?

Вопрос сорвался сам. Варвара Павловна посмотрела на меня без раздражения.

- За документом, подтверждающим исполнение вчерашнего взыскания. Вы должны передать его классной даме до вечерней поверки.

- Да, сударыня.

- И прочтите, наконец, правила о сроках передачи документов. Второй раз незнание уже не будет выглядеть незнанием.

Она пошла дальше. Я стояла у окна и чувствовала, как холодеют пальцы.

- Дыши, - сказала Лида.

- Я дышу.

- Нет. Ты изображаешь статую святой мученицы перед тем, как ее бросят львам. Дыши нормально.

Я вдохнула. Потом еще раз.

- Почему они сразу не дали документ вчера?

- Дают не всем. Иногда надо зайти самой. Проверяют, помнишь ли ты не только наказание, но и то, что идет после него.

- Прекрасно. Тут даже после конца есть продолжение.

- Конечно. Иначе какая польза от конца?

Вторым уроком была арифметика. Я всегда относилась к цифрам с подозрением. Они были слишком уверены в себе. В словах можно спрятаться, можно повернуть фразу, можно выбрать тон. Цифра стоит и смотрит на тебя, как надзирательница. Неправильно, значит неправильно. Никакого милосердия.

Преподаватель, Иван Карлович, был толстый, розовый, с мягкими руками. По виду он мог бы торговать пирожными или держать аптеку. Но уже через десять минут стало ясно, что он обожает ловушки. Он давал задачу простую, почти детскую, а в конце оказывалось, что половина класса забыла перевести сажени в аршины или приняла месячный процент за годовой.

Я ошиблась на третьей задаче. Не грубо, но заметно. Иван Карлович подошел к моей парте, посмотрел в тетрадь и постучал карандашом по неверной строке.

- У нас не салон, госпожица Чернова. Здесь нельзя заменять счет темпераментом.

Класс засмеялся. Я почувствовала, как лицо заливает жаром.

- Исправьте.

Я исправила. Рука дрожала. От этого цифры стали еще уродливее.

После урока он не позвал меня. И это уже казалось подарком.

К середине дня я поняла, что институт устроен как часы, но часы эти идут не для времени. Они идут для страха. Подъем, умывание, молитва, завтрак, уроки, перемены, построения, обед, рукоделие, чтение, прогулка, вечерние занятия, проверка, сон. Все расписано. В такой сетке не остается места для случайности. А если случайность все-таки пролезает, ее объявляют проступком и вносят в тетрадь.

После обеда нас повели на прогулку. Сад был большой, старый, с липами, которые, наверное, видели еще тех воспитанниц, что потом стали бабушками и пугали внушек рассказами о своем образовании. Дорожки посыпаны песком. В конце сада стояла беседка, но подходить к ней без разрешения запрещалось. Запрещалось также разговаривать громко, отделяться от пары, поднимать с земли предметы, передавать записки, смеяться без причины.

- А с причиной можно? - спросила я у Лиды.

- Попробуй объяснить причину дежурной.

Мы шли парами. Впереди две младшие спорили из-за ленточки. Одна шептала, что лента ее, другая шептала, что нашла ее под кроватью, значит, теперь она ничья. Спор становился горячее. Я видела, как дежурная уже повернула голову.

И тут младшая с лентой, совсем маленькая, лет восемнадцати, хотя выглядела младше от круглого лица, вдруг сунула ленту за пазуху. Другая толкнула ее плечом. Та оступилась и вылетела с дорожки на мокрую траву.

Дежурная увидела только это.

- Госпожица Орлова! - сказала она таким голосом, что даже вороны на ветках замолчали.

Толкнувшая девица побелела.

- Сударыня, она взяла мою...

- Молчать. После прогулки получите бланк.

Я смотрела на девочку на траве. Та уже поднялась и молчала, вцепившись в спрятанную ленту. Виноватая была не одна. Это было ясно. И все молчали.

Я тоже молчала.

Два дня назад я бы, наверное, вмешалась. Сказала бы, что видела. Потребовала бы справедливости. Гордо и глупо. Сегодня я стояла и чувствовала, как во мне дерутся две женщины. Одна хотела сказать правду. Другая уже знала цену бумаги с фамилией.

После прогулки Орловой действительно дали бланк. Она держала его двумя пальцами, будто бумага была горячее. Девушка с лентой смотрела в пол.

- Скажи, - шепнула мне Лида.

Я резко повернулась к ней.

- Что?

- Ты видела. Я видела, что ты видела. Скажи дежурной.

- Почему ты сама не скажешь?

- Потому что я стояла дальше. А ты рядом.

Вот так. Лида, которая утром объясняла мне, что правила здесь важнее дыхания, теперь требовала правды. Удобная у нее была совесть. Появлялась, когда опасность стояла ближе ко мне.

Я посмотрела на Орлову. Она не плакала. Только губы у нее стали тонкими. Девушка с лентой все еще молчала. Дежурная записывала что-то у окна.

Я подошла.

- Сударыня.

Дежурная подняла глаза.

- Что вам, госпожица Чернова?

- Я видела, как началось происшествие.

Комната стихла. Даже те, кто делал вид, что занят пуговицами и тетрадями, перестали двигаться.

- Говорите.

Я рассказала. Коротко. Без украшений. Лента. Спор. Толчок. Падение. Не оправдывала Орлову. Не обвиняла одну вторую. Просто сказала, что видела.

Дежурная выслушала и повернулась к девушке с лентой.

- Госпожица Мещерская.

Та заплакала сразу. Быстро, испуганно, некрасиво.

- Я не хотела. Она первая сказала, что пожалуется.

- Ленту на стол.

Мещерская вынула ленту. Дежурная взяла второй бланк.

- Обе пойдете в Совет. Орлова за толчок. Мещерская за присвоение чужой вещи и ложь молчанием.

Ложь молчанием. Я запомнила эти слова. Они были точные и неприятные. Потому что касались не только Мещерской.

Дежурная уже опустила перо, когда вдруг снова посмотрела на меня.

- А вы, госпожица Чернова, почему сообщили не сразу?

У меня пересохло во рту.

- Я растерялась.

- Неправда.

Я молчала.

- Вы испугались.

- Да, сударыня.

- Страх не освобождает от обязанности говорить правду.

Вот и все, подумала я. Сейчас будет третий бланк. Первый день, и я снова пойду в зал. Лида за моей спиной шумно втянула воздух.

Дежурная закрыла чернильницу.

- На этот раз ограничусь замечанием. Но запомните: трусость, которая прикрывается осторожностью, очень быстро становится привычкой.

Я поклонилась и отошла. Ноги были ватные. Орлова смотрела на меня с благодарностью, Мещерская с ненавистью. Лида с облегчением. А я не чувствовала себя ни честной, ни смелой. Я просто успела сказать правду до того, как окончательно струсила.

Последним уроком была история. Я любила историю, но преподавательница делала все, чтобы любовь прошла. Она читала даты так, будто пересчитывала белье в прачечной. Цари сменяли друг друга без лиц, войны начинались без причин, реформы появлялись из воздуха и исчезали в воздухе. Я записывала машинально. В голове все еще звучало: ложь молчанием.

После урока я пошла в канцелярию Совета. Коридор к ней был узкий и темный. На стенах висели портреты прежних начальниц института. Все они смотрели так, будто лично придумали каждое наказание и остались довольны. Возле двери стояла скамья. Та самая, на которой вчера ожидали девицы с бланками. Сегодня она была пуста. От пустой скамьи мне стало еще тревожнее.

Я постучала.

- Войдите.

Варвара Павловна сидела за столом. Красная тетрадь лежала перед ней, рядом стопка бланков, песочница, перья. В комнате было тепло, но я сразу почувствовала холод в спине.

- Госпожица Чернова. Вовремя.

- Вы велели зайти после последнего урока, сударыня.

- Велела.

Она открыла ящик, вынула сложенный лист и положила на стол.

- Это передадите классной даме. Подпись получите в журнале. Если забудете, завтра снова придете ко мне, но уже не за документом.

Я взяла лист.

- Да, сударыня.

Она не отпустила меня сразу. Перо в ее руке коснулось красной тетради, но писать она не стала.

- Вы сегодня вмешались в происшествие на прогулке.

Я вздрогнула.

- Да, сударыня.

- Не сразу.

- Да.

- Почему?

Я могла бы повторить про растерянность. Могла бы сказать, что не поняла. Но здесь такие ответы, кажется, жили недолго.

- Потому что вчера была в зале и боялась снова туда попасть.

Варвара Павловна откинулась на спинку стула. Она смотрела на меня без прежней неподвижности. Будто я наконец сказала что-то, что ее заинтересовало.

- И все-таки сказали.

- Лида сказала, что надо.

- А если бы не сказала?

Я помолчала.

- Не знаю.

- Знаете.

Это было сказано тихо, но спорить не хотелось.

- Наверное, я промолчала бы.

Она кивнула. Не осуждающе. Скорее так, как кивают врачу, когда больной наконец называет место, где болит.

- Вот поэтому институт и держит Совет.

Я подняла глаза.

- Чтобы люди боялись?

- Чтобы люди видели цену выбора.

- Простите, сударыня, но страх тоже выбор портит.

Слова вышли раньше осторожности. Я уже приготовилась к резкому замечанию. Варвара Павловна закрыла тетрадь.

- Портит. Особенно слабый страх. Сильный иногда показывает человеку, чего он стоит.

- Я не хочу, чтобы меня проверяли страхом.

- Никто не спрашивает, чего мы хотим, госпожица Чернова. Вас ведь не спрашивали, хотите ли вы сюда поступить?

Я молчала.

- Отец привез?

- Да.

- Сказал, что здесь сделают из вас послушную дочь?

Я почувствовала, как в груди шевельнулась обида. Не на нее. На отца. На себя. На весь этот дом с его звонками, тетрадями и аккуратными жестокостями.

- Примерно так.

- И вы решили сопротивляться всему подряд?

- Я ничего не решила.

- Решили. Просто еще не назвали это решением.

Мне захотелось сказать ей, что она ничего обо мне не знает. Но вчера я уже поняла: в этом месте любое слово может стать лестницей вниз. Я прижала лист к груди и промолчала.

Варвара Павловна заметила это.

- Уже учитесь.

- Это плохо?

- Это опасно. Учиться молчать надо только вместе с умением говорить вовремя. Иначе вы станете удобной. А удобных людей здесь любят, но не уважают.

Я не ожидала от нее таких слов. Строгость я бы поняла. Угрозу тоже. А это было похоже на предупреждение. Почти на совет.

- Почему вы мне это говорите?

- Потому что вчера вы дрожали, но не лгали. Сегодня испугались, но все-таки сказали правду. Посмотрим, что будет завтра.

От этого «посмотрим» мне стало не по себе.

- Завтра я постараюсь не попасть к вам.

- Это не всегда зависит от старания.

- Тогда от чего?

Варвара Павловна чуть усмехнулась. Совсем чуть-чуть. Если бы я моргнула, не заметила бы.

- От характера. А характер, как правило, мешает человеку не меньше, чем помогает.

Она открыла журнал, давая понять, что разговор окончен. Я поклонилась и вышла.

В коридоре я остановилась у окна. Сад уже темнел. За стеклом липы стояли черные, мокрые, неподвижные. Я держала в руке подтверждение вчерашнего наказания, как пропуск из одного состояния в другое. Вчера я была новенькой, которая ничего не знает. Сегодня я уже знала достаточно, чтобы бояться заранее.

Но еще я знала, где канцелярия Совета, кто такая Варвара Павловна, как звучит голос Анны Матвеевны, когда она просит, а не приказывает, и что Лида умеет подталкивать к правде так же ловко, как другие толкают к падению.

Перед вечерними занятиями я отдала документ классной даме. Она расписалась в журнале, не глядя на меня. Я смотрела, как перо выводит мою фамилию, и думала, что в этом доме человек существует только тогда, когда его записали. Приехала, записали. Опоздала, записали. Исправилась, тоже записали. Даже наказание без записи как будто не считается настоящим.

За ужином Орлова подошла к моему столу.

- Спасибо, - сказала она тихо.

Я не знала, что ответить.

- Я сказала не ради тебя.

- Все равно спасибо.

Она ушла. Мещерская, сидевшая через два стола, смотрела на меня красными глазами. Теперь у меня появился первый враг. Неплохой результат для второго дня.

Лида ковыряла вилок рыбу.

- Ты могла ответить Орловой по-человечески.

- Я ответила честно.

- Честность не обязана быть колючей.

- Это ты мне говоришь?

- Я. У меня большой опыт колючести. Поэтому я знаю, когда она лишняя.

Мы обе усмехнулись. Потом она вдруг стала серьезной.

- Варвара Павловна что сказала?

- Что удобных любят, но не уважают.

Лида перестала ковырять рыбу.

- Она тебе так сказала?

- Да.

- Странно.

- Почему?

- Потому что это правда.

После ужина я села за письменный стол в общей комнате. Надо было решить задачи Ивана Карловича, выучить даты по истории и, если хватит сил, найти стихи для Анны Матвеевны. Свои. Старые. Плохие. Те, что я привезла в потайном кармане дорожной сумки вместе с письмом от Маши и маленьким портретом матери.

Задачи не шли. Проценты расползались. Купец покупал сукно, продавал сукно, терял, получал прибыль, а я желала ему одного: чтобы он наконец разорился и освободил меня от счета. Лида сидела напротив и писала быстро, без помарок.

- Помоги, - сказала я.

- С чем?

- С купцом. Он меня ненавидит.

Она протянула руку за моей тетрадью.

- Купцы никого не ненавидят. Они считают.

Через пять минут она объяснила задачу так просто, что мне стало стыдно. Дело было не в сукне, а в том, что я перепутала исходную сумму. Я поблагодарила. Лида кивнула, будто благодарность была лишней, но приятной.

- А ты правда пишешь стихи? - спросила она.

- Иногда.

- Про любовь?

- Про смерть, дорогу и то, как хочется разбить окно.

- Значит, про любовь.

Я хотела засмеяться, но в комнате сидела дежурная, и смех без причины был запрещен. Пришлось проглотить его, как косточку.

Когда занятия закончились, я поднялась в спальню и достала из сумки тонкую тетрадь в серой обложке. Стихи там были неровные, слишком горячие, местами смешные от своей серьезности. Я листала и краснела в темноте. Как это можно показать Анне Матвеевне? Она же поймет, что я не только пишу, но и думаю больше, чем положено дочери моего отца.

С другой стороны, она и так поняла.

Я выбрала одно. Не лучшее. Просто то, где было меньше позы. Переписала на чистый лист, несколько раз зачеркнула слово «свобода», потому что оно выглядело слишком громко, заменила на «дорога», потом вернула обратно. Иногда громкое слово бывает единственным честным.

Перед сном Лида спросила:

- Боишься завтрашнего дня?

Я лежала на спине и снова смотрела на пятно на потолке.

- Да.

- Хорошо.

- Что хорошего?

- Значит, не будешь делать вид, что ничего не поняла.

Я повернулась к ней.

- Ты всегда такая утешительная?

- Нет. Иногда хуже.

В коридоре погасили лампу. Комната погрузилась в темноту, только от окна лежала серая полоса. Я слышала дыхание девиц, скрип кроватей, далекий шаг дежурной. Где-то внизу закрылась дверь. Может быть, дверь Совета. Может быть, обычная дверь. В этом доме любые двери звучали одинаково: как напоминание.

Я думала о Варваре Павловне. О том, как она сказала: сильный страх иногда показывает человеку, чего он стоит. Мне не нравилась эта мысль. В ней было что-то жесткое, почти бесчеловечное. Но я не могла отмахнуться. Сегодня я испугалась и чуть не промолчала. Значит, страх действительно показал мне кое-что. Не прекрасное. Не благородное. Обычное: я могу струсить. И еще: я могу успеть не струсить до конца.

Это знание было неприятным, но полезным. Как ледяная вода утром.

Перед тем как уснуть, я дала себе новое слово. Не большое. Большие слова здесь быстро пачкаются. Я не обещала стать смелой, справедливой, нестигаемой. Я обещала только одно: завтра, если придется выбирать между молчанием и правдой, я хотя бы пойму, что выбираю.

А это уже было больше, чем вчера.

Третья запись в красной тетради

Наутро я поняла, что вчерашнее слово не любит утреннего света. Вечером оно казалось ясным: если придется выбирать между молчанием и правдой, я хотя бы пойму, что выбираю. Утром это выглядело хуже. Утром у слова были холодные руки, тяжелые ботинки и привычка ставить человека перед фактом.

Колокол ударил в шесть. В спальне зашевелились сразу все, будто не девицы просыпались, а кто-то дернул за одну нитку целую связку кукол. Кровать Лиды скрипнула. Соня, как всегда, сначала сказала сквозь зубы что-то злое, потом перекрестилась, потом снова сказала злое, уже тише. Я сидела на постели и смотрела на свои руки. Они казались чужими. Накануне эти руки сами поднялись, когда Варвара Павловна спросила, кто говорил у окна после сигнала. Я не собиралась поднимать их. Я даже успела подумать, что промолчу. А потом увидела Митю, которого вели по коридору, и все внутри меня повернулось не туда, куда было безопасно.

Теперь безопасное отступило еще дальше.

После умывания я нашла в кармане передника сложенный листок. Тот самый. Красный штамп Совета, моя фамилия, имя дежурной, причина: «самовольное вмешательство в дисциплинарное распоряжение». Под этой строкой Варвара Павловна своей ровной рукой добавила: «с попыткой оправдания другого воспитанника». У нее был красивый почерк. Даже неприятные слова она писала так, будто выводила приглашение на именины.

Я долго смотрела на эту приписку. Попытка оправдания другого. В доме Ларионовых это называлось проступком. В обычной жизни, наверное, это называлось бы разговором. Может быть, за стенами института люди иногда объясняли друг другу, что произошло, и никто не считал это дерзостью. Здесь любое объяснение легко превращалось в торг. Торг с правилом. А правило не торгуется, оно только смотрит на тебя из бумаги.

Лида заметила листок, когда завязывала ленту на косе.

«Опять?»

Я сложила бумагу и спрятала в карман.

«Не опять. Второй раз».

«Второй раз за неделю и называется опять».

Она сказала это без злости. Скорее с усталой хозяйственной точностью, как говорят: хлеб черствеет, вода остывает, новичка тащат в Совет, если он считает себя умнее дома.

Соня подошла ближе, еще сонная, с красным следом от подушки на щеке.

«За Митю?»

Я не ответила сразу. Мне не хотелось произносить его имя. Имя делало случившееся слишком личным. Бумага еще оставляла возможность думать, что дело в правилах, а не в живом человеке. Стоило сказать «Митя», и получалось, что я не просто вмешалась в распоряжение, а выбрала сторону.

«За правду», сказала я.

Соня фыркнула.

«Правда у нас в корпусе без формы ходит, поэтому ее все время принимают за нарушение».

Лида велела ей заткнуться. Потом села рядом со мной и заговорила тихо, почти ласково, отчего мне стало еще тревожнее.

«Послушай. Я знаю, тебе кажется, что ты поступила как надо. Может быть, и так. Но в Совете это не любят. Особенно когда человек приходит туда второй раз и начинает думать, что уже понял порядок. Ты ничего не поняла. Мы все сперва ничего не понимаем. Поэтому там надо отвечать коротко. Не объяснять лишнего. Не спорить. Не защищать никого, кто не стоит рядом и сам не просит защиты».

«А если он не может попросить?»

«Тогда тем более».

Она поднялась, поправила на мне воротник и прижала пальцем пуговицу, которая никак не хотела ложиться ровно.

«Ты думаешь, они проверяют справедливость. Нет. Они проверяют, можешь ли ты поставить приказ выше своего порыва. И если не можешь, они будут учить».

«А если приказ глупый?»

Лида посмотрела на дверь, хотя дежурной в комнате не было.

«Глупость приказа не делает его легче для спины».

Она не сказала, что именно будет со спиной. И правильно. В этом доме самые страшные вещи редко называли прямо. Их оставляли в тумане, где они становились больше, чем были. Или меньше. Это зависело от воображения, а мое воображение к тому утру работало слишком старательно.

За завтраком я увидела Митю. Он сидел за дальним столом, рядом с двумя старшими мальчиками, и старательно резал кашу ложкой, будто перед ним лежала не каша, а кусок тяжелого мяса. Лицо у него было бледное. Под правым глазом темнела тень, то ли от недосыпа, то ли от вчерашних слез. Он не смотрел в мою сторону. Я сначала обиделась, потом устыдилась. Чего я ждала? Что он встанет посреди трапезной и поклонится мне за то, что я прибавила себе хлопот? Что он даст понять всему залу, из-за кого я теперь пойду в Б-17?

После молитвы каша стала еще холоднее. Я ела ее медленно, глотая комки без вкуса. Напротив меня Соня рисовала ногтем на столе какие-то круги. Лида сидела ровно, как на портрете строгой тетки, только глаза у нее были живые и беспокойные.

У двери появился Григорий.

Не знаю, почему я сразу почувствовала его присутствие, хотя он не сказал ни слова. В трапезной было шумно: ложки стучали, кто-то закашлялся, младшие шептались, дежурная хлопнула ладонью по столу. Но все равно в воздухе что-то изменилось. Будто в комнату внесли холодный предмет.

Он стоял у двери в темном мундире, с папкой под мышкой. Лицо спокойное. Не сердитое, не ласковое. Такое лицо бывает у человека, который заранее знает, что ты скажешь лишнее, и уже устал ждать, когда ты это сделаешь.

Наши взгляды встретились. Я быстро опустила глаза к тарелке и тут же пожалела. Вчера Варвара Павловна говорила мне: «Смотрите прямо, когда отвечаете». Сегодня я не отвечала, но от этого было не легче. Я подняла глаза снова. Григорий уже смотрел не на меня, а на дежурную. Они обменялись несколькими словами. Потом он ушел.

«Вот и все», прошептала Соня.

«Что все?»

«Он тебя видел».

«Он и вчера меня видел».

«Вчера ты была новенькая с красивым проступком. Сегодня ты повторяешься».

Я хотела сказать, что проступок не может быть красивым. Потом подумала, что Соня отчасти права. Есть нарушения некрасивые: украсть хлеб, подсунуть чужую тетрадь, соврать ради выгоды. А есть такие, о которых потом рассказывают шепотом, украшая подробности. Мол, она не испугалась. Мол, подняла руку. Мол, сказала при всех. Вчера я еще могла случайно попасть в такую историю. Сегодня мне нужно было вынести ее последствия. Тут украшения кончались.

Первый урок был французский. Мадам Белецкая заставляла нас повторять неправильные глаголы, и я вдруг поняла, что неправильные глаголы честнее правильных людей. Они хотя бы сразу признаются, что ведут себя не по образцу. Я сидела во втором ряду и выводила в тетради *je fus, tu fus, il fut*, хотя мысли мои были не во Франции и не в грамматике. Они ходили

по коридору, спускались к нижнему этажу, останавливались перед дверью Б-17 и никак не решались постучать.

Мадам Белецкая дважды сделала мне замечание. На третий раз велела встать.

«Марья Сергеевна, если вы так заняты своими тайнами, поделитесь с классом хотя бы одной».

Смех прошел по рядам, тонкий и быстрый.

Я встала. Уроки у нас проходили в комнатах с высокими окнами. Когда стоишь у парты, кажется, что весь свет падает не на тетрадь, а на твое лицо, чтобы всем было удобнее рассматривать, как ты краснеешь.

«Я думала о Совете, мадам».

Она чуть приподняла брови.

«Это похвально. Некоторые начинают думать о нем только тогда, когда уже поздно. Садитесь. И думайте тише».

Опять смех. Но не злой. Даже мадам Белецкая, кажется, не хотела меня добить. Она знала этот дом лучше меня и понимала, что человек перед Советом похож на больного перед зубным врачом: можно над ним пошутить, но не надо долго.

К полудню я так устала бояться, что страх сделался будничным. Он шел рядом, как тяжелая сумка. Сначала несешь ее и думаешь только о боли в руке, потом привыкаешь, перекладываешь с одной стороны на другую и даже можешь разговаривать.

После арифметики меня остановил Митя.

Я выходила из класса последней, потому что нарочно медлила, собирая перо, тетрадь, учебник, хотя все это можно было сложить за несколько секунд. В коридоре уже было почти пусто. Митя стоял у окна, где вчера все началось. Он не подходил сразу. Смотрел на подоконник. На нем еще оставалась царапина от чьего-то циркуля.

«Марья Сергеевна».

Он произнес мое имя официально, как в журнале. Я остановилась.

«Что?»

«Я хотел сказать, что вам не надо было».

«Уже поздно».

«Я знаю. Но вам правда не надо было. Я бы сам...»

Он не договорил. Мы оба знали, что он бы сам ничего не сказал. Не потому, что был плохим или трусливым. Просто его уже держали за плечо, и когда тебя держат, слова становятся тяжелыми. Я вчера была свободна. Относительно свободна. Свободна настолько, чтобы испортить себе вечер.

«Ты действительно говорил после сигнала?»

«Да».

«А почему?»

Он помолчал.

«У меня брат болеет. Мне передали записку. Я прочитал и... не знаю. Спросил у Федя, может ли чахотка пройти, если повезет. Глупость спросил. Федя сказал, что у его тетки прошла. Тут вошла Варвара Павловна».

Я стояла и чувствовала, как во мне исчезает вчерашняя гордость. Я думала, что защитила справедливость. На деле я защитила мальчика, который спросил о больном брате и попался. Это было проще и больнее. Потому что тут не было красивого спора с правилом. Был ребенок, болезнь, записка, чужая тетка и дежурная, которая услышала не то, что нужно.

«Почему ты не сказал?»

Он посмотрел на меня с удивлением.

«Кому? Варваре Павловне? Чтобы она сказала, что личные письма читают в свободное время?»

Он был прав. Именно это она бы и сказала. Может быть, добавила бы, что болезнь брата не отменяет порядка в корпусе. В этом доме любое человеческое горе сперва измеряли линейкой: сколько минут, при каких обстоятельствах, мешало ли уроку, нарушало ли сигнал.

«Я не хотела сделать хуже», сказала я.

«Вы сделали».

Он сказал это тихо. Без упрека, но слово ударило сильнее упрека. Я кивнула.

«Знаю».

«Нет, не вам. Себе. Теперь я тоже должен идти в Совет снова. Потому что Варвара Павловна решила, что если меня пришлось оправдывать, значит, я скрыл обстоятельства».

У меня пересохло во рту.

«Когда?»

«Сегодня. После вас, кажется».

Коридор вдруг показался длиннее. За окнами шел мелкий снег, почти крупа. Он бился в стекло и сразу таял, оставляя мутные дорожки.

«Я скажу, что это моя вина».

Митя резко поднял голову.

«Не надо. Пожалуйста. Ничего больше не говорите. Вы же видите, как у вас получается».

Он поклонился и ушел. Я осталась у окна, где на подоконнике лежала та самая царапина от циркуля, и впервые за эти дни подумала, что правда бывает не только смелой, но и неловкой. Можно сказать правду так, что она встанет поперек чужой дороги. Можно броситься помогать и наступить человеку на пальцы. От этого помощь не становится злой, но пальцам больно.

В Б-17 я пришла ровно в четыре.

На этот раз не ждала последней минуты. От последней минуты мало пользы. Она только делает человека смешным: сначала он ходит по коридору туда-сюда, будто выбирает судьбу, потом все равно входит, только уже с мокрыми ладонями и стыдом за собственное хождение.

У двери сидел тот же писарь, худой старший ученик с длинным носом и красными веками. Он поднял глаза, узнал меня и ничего не сказал. Записал фамилию, взял листок, вернул его, показал на скамью.

На скамье сидели трое. Младшая девочка из приготовительного класса, вся в слезах. Высокий мальчик с упрямым подбородком. И Митя. Он сел у самого края, будто хотел занимать как можно меньше места в этой комнате и в этой истории.

Я могла бы сесть рядом. Но вспомнила Лиду: не защищать никого, кто не стоит рядом и сам не просит защиты. Тогда я села на другом конце. Митя даже не посмотрел.

В зале работали двое: Варвара Павловна и незнакомый надзиратель, которого звали, кажется, Степан Ильич. Григория не было. От этого мне почему-то стало хуже. Я боялась его, но отсутствие его пугало больше. Когда знаешь, кто будет тебя разбирать, страх хотя бы имеет лицо. А без лица он расползается по углам.

Младшую девочку позвала Варвара Павловна. Та поднялась так быстро, что задела коленом скамью. Ее проступок оказался пустяковым: она спрятала в рукав кусочек сахара. Не украла даже, а сберегла после чая. Варвара Павловна говорила с ней долго. Спросила, голодна ли она. Спросила, зачем прятала. Девочка рыдала и повторяла, что хотела отдать младшему брату в воскресенье. Варвара Павловна слушала без улыбки. Потом велела написать письмо брату под диктовку дежурной, где будет сказано, что чужое нельзя приносить даже из любви.

Я смотрела и не понимала, что тут страшнее: само наказание или эта аккуратность, с которой любовь раскладывали по правилам.

Девочку отпустили без телесной кары. Она вышла, прижимая к груди свой листок. Высокого мальчика забрал Степан Ильич. За ширмой слышались короткие команды, потом сухие удары линейки по ладоням. Мальчик не вскрикнул ни разу. Только на третьем ударе что-то глухо выдохнул. Его упрямый подбородок, наверное, держался до конца.

Потом вошел Григорий.

Он появился из боковой двери, без папки, в одной темной тужурке. Волосы у него были чуть влажные, будто он недавно умылся холодной водой. Лицо спокойное, но не такое, как утром. Утром он был частью порядка. Сейчас мне показалось, что порядок был частью его, причем не самая большая.

Писарь поднялся и передал ему несколько листков. Григорий просмотрел их. Один оставил у себя. Я знала, чей это листок, еще до того, как он произнес мою фамилию.

«Марья Сергеевна».

Я встала. Ноги сразу сделались пустыми внутри, но пошли. Это было странное открытие: ноги могут идти без согласия души.

Он указал мне на темную линию перед столом. Я встала на нее, сложила руки за спиной, как меня учили. Григорий смотрел не на листок, а на меня.

«Вы быстро вернулись».

«Да, господин надзиратель».

«Вам нравится это помещение?»

«Нет, господин надзиратель».

«Тогда почему вы так стараетесь узнать его лучше?»

Вопрос был почти мягкий. От мягкости у меня защипало глаза. Я не хотела плакать. Только не перед ним. Только не сразу.

«Я не старалась».

«Вы вмешались в распоряжение Варвары Павловны».

«Да».

«Зная, что не имеете права».

Вот тут надо было ответить коротко. Да. Нет. Не подумала. Виновата. Любой из этих ответов, даже если не совсем верен, был бы безопаснее.

Я сказала:

«Зная, что Митя не мог объяснить сам».

Григорий чуть наклонил голову. Не удивился. Просто отметил.

«Первая лишняя фраза».

У меня похолодели пальцы.

«Простите».

«Не за что просить прощения. Я считаю. Это разные вещи».

Он положил листок на стол и обошел меня кругом. Я слышала его шаги за спиной. Медленные. Не тяжелые. От этих шагов хотелось втянуть голову в плечи, но я удержалась. Он остановился слева.

«Скажите, Марья Сергеевна, вы вчера добились того, чего хотели?»

Я подумала о Мите. О его словах: «Вы сделали хуже».

«Нет».

«Почему?»

«Потому что сказала не так».

«Не так?»

«Я сказала правду без разрешения и без пользы».

Григорий молчал. Потом подошел ближе. Я видела пуговицу на его тужурке, темную, гладкую, с маленькой царапиной.

«Это уже лучше. Хотя тоже лишнее».

Я почти улыбнулась. Почти. Но вовремя вспомнила, где стою.

«Вторая лишняя фраза?» спросила я.

«Нет. Пока нет. Я сам спросил».

За ширмой Степан Ильич закончил. Высокий мальчик вышел бледный, с руками, прижатыми к груди. Он держал подбородок все так же упрямо, только теперь эта упрямость была не против наказания, а против слез. Я позавидовала ему. Не боли, конечно. Подбородку.

Григорий проследил за моим взглядом.

«Не отвлекайтесь».

«Да, господин надзиратель».

«Вы жалеете о том, что вмешались?»

Вопрос был хуже предыдущих. Если скажу «да», предам вчерашнюю себя. Если скажу «нет», совру, потому что жалела уже не раз. Я жалела о последствиях. О тоне. О том, что не спросила Митю раньше. Но не о том, что подняла руку.

«Я жалею, что была самоуверенна».

«Это не ответ».

«Другого у меня нет».

«Третья лишняя фраза».

Я закрыла рот. Внутри стало обидно, почти смешно. Он задает вопрос, на который нельзя ответить честно одной короткой фразой, а потом считает лишнее. Лида была права: Совет проверяет не справедливость. Он проверяет, умеешь ли ты молчать, когда молчать трудно.

Григорий взял со стола тонкую деревянную указку. Я увидела ее краем глаза и сразу почувствовала ладони, хотя он еще ничего не сказал.

«Руки вперед».

Я вытянула руки. Ладони раскрылись сами. На левой был чернильный след возле большого пальца. Я вдруг подумала, что он сейчас увидит этот след и сделает замечание за неопрятность. Но он смотрел не на чернила.

«За вмешательство в распоряжение положено шесть ударов по ладоням. За три лишние фразы еще три. Всего девять. Вы будете считать вслух. После каждого удара благодарить не надо. Здесь не театр покорности».

Я не поняла, почему он сказал это. Может быть, кто-то до меня благодарил. Может быть, он не любил, когда страх притворяется благонаравием. В любом случае я кивнула.

«Словами».

«Да, господин надзиратель».

«Начинайте».

Я хотела спросить, как начинать, но не решилась. Потом поняла.

«Первый».

Указка легла на ладонь не сразу. Секунда ожидания оказалась длиннее удара. Потом резкая горячая полоса пересекла кожу, и я вдохнула так громко, что стало стыдно. Удар был не зверский. От этого почему-то еще обиднее. Если бы боль была невозможной, можно было бы сдаться ей целиком. А так приходилось стоять и сознавать каждую секунду.

«Второй».

Вторая ладонь. Огонь. Я зажмурилась.

«Глаза открыты».

«Да».

«Четвертая лишняя фраза не считается. Это был ответ на приказ. Продолжайте».

Он сказал это почти с насмешкой. Я открыла глаза.

«Третий».

После третьего удара я поняла, что тело устроено подло. Оно заранее отдергивает руку, хотя ум приказывает держать. Пришлось вцепиться ногтями в воздух. На четвертом ударе я все-таки дернула левую ладонь.

Григорий остановился.

«Верните руку».

Я вернула.

«Если уберете еще раз, начнем сначала».

Он не повысил голос. И это было хуже крика. Крик можно переждать. Ровный голос приходится принимать всерьез.

«Четвертый».

Удар пришелся по тому же месту. Я почувствовала, как в глазах собираются слезы, и стала смотреть на верхнюю пуговицу его тужурки. Пуговица держалась крепко. Мир сузился до нее, до указки и до моих ладоней.

«Пятый».

Я выдержала.

«Шестой».

Выдержала хуже. Из горла вырвался звук, не слово, но близко к жалобе. Григорий не сделал замечания. Может быть, такие звуки не считались. Может быть, он был милостив. Неприятно было думать, что он может быть милостив, когда держит указку.

«Седьмой».

Теперь пошли добавочные. Мои собственные лишние фразы вернулись ко мне красными полосами. Я почти разозлилась. На себя. На него. На Варвару Павловну. На Митю. На этот дом, где слова превращались в боль быстрее, чем чернила высыхали на бумаге.

«Восьмой».

На восьмом я дернулась всем корпусом, но руки удержала. Слезы все-таки потекли. Они упали на воротник. Я не всхлипнула и этим гордилась. Гордость была маленькая, глупая, но тогда мне хватило и такой.

«Девятый».

Последний удар рассек ладонь по самому основанию пальцев. Я не вскрикнула. Только выдохнула и вдруг почувствовала слабость в коленях.

«Руки за спину».

Я убрала руки. За спиной они горели сильнее, потому что одна касалась другой. Пальцы дрожали. Я старалась не шевелить ими.

Григорий положил указку на стол.

«Теперь ответьте на первый вопрос. Вы жалеете о том, что вмешались?»

Я посмотрела на него и поняла, что он спрашивает уже не для наказания. Или не только для него. Он хотел услышать, что осталось от моего поступка после боли. Некоторые мысли красиво звучат до удара. После удара они либо становятся честнее, либо исчезают.

Я сказала:

«Нет».

Он долго молчал.

«Почему?»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.